В. Г. БЕЛИНСКИЙ

Сочинения

Виссарион Белинский

Стихотворения Е. Баратынского

«Public Domain»
1842

Белинский В. Г.

Стихотворения Е. Баратынского / В. Г. Белинский — «Public Domain», 1842

ISBN 978-5-457-13556-7

Определяя историческое место Баратынского в русской поэзии, Белинский отмечает в нем «яркий, замечательный талант», и ставит его на «первое место» среди поэтов, вошедших в литературу вместе с Пушкиным. В качестве положительной черты критик отмечает преобладание в поэзии Баратынского мысли, которая «вышла не из праздно мечтающей головы, а из глубоко истерзанного сердца». Казалось, в Баратынском есть все, чего так не хватало и Майкову, и Полежаеву. И все же поэзия Баратынского во многом не удовлетворяет Белинского.

ISBN 978-5-457-13556-7

© Белинский В. Г., 1842
© Public Domain, 1842

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента. 11
Комментарии

Виссарион Григорьевич Белинский <Стихотворения Е. Баратынского>

Сумерки. Сочинение Евгения Баратынского. Москва, 1842.
Стихотворения Евгения Баратынского. Две части. Москва, 1835.

Пытливый дух исследования и анализа, по преимуществу характеризующий новейшую эпоху человечества, проник в таинственные недра земли и по ее слоям начертал историю постепенного формирования нашей планеты. Естествознание еще прежде, через классификацию родов и видов явлений трех царств природы, определило *моментальное* развитие духа жизни,[1] от низшей его формы – грубого минерала, до высшей – человека, существа разумно-сознательного. Все это богатство фактов, добытых опытным знанием, послужило к оправданию априорных воззрений на жизнь мирового духа и очевидно доказало, что жизнь есть развитие, а развитие есть переход из низшей формы в высшую, и, следовательно, что не развивается, то есть не изменяется в форме, пребывая в однообразной неподвижности, то не живет, то лишено плодотворного зерна органического развития, рождаясь и погибая чрез случайность и по законам случайности. Такое же зрелище представляют и исторические общества, ибо и они или существуют по тому же вечному закону развития, то есть перехождения из низших форм жизни в высшие, или вовсе не существуют, потому что одно фактическое, одно эмпирическое существование, как лишенное разумной необходимости, следственно, случайное, равняется совершенному несуществованию: кто докажет теперь человеку непросвещенному и необразованному, что Греция и Рим существуют? – а между тем для человечества они и теперь существуют несомненно; кто не докажет всем и каждому, что Китай подлинно существует? – а между тем Китай все-таки существует для человечества меньше, чем китайский чай…

Внимательное исследование открывает, что и жизнь обществ, так же как и жизнь планеты, на которой они обитают, слагается из множества слоев, из которых каждый, в свою очередь, подобно разноцветным волнующимся лентам, отличается множеством слоистых пластов. Пласты эти – поколения, из которых каждое, удерживая в себе многое от предшествовавшего поколения, тем не менее и отличается от него собственным колоритом, собственным характером, собственною формою и собственною физиономиею. Каждое последующее поколение относится к предшествующему, как корень к зерну, стебель к корню, ствол к стеблю, ветвь к стволу, лист к ветви, цвет к листу, плод к цвету. Но это сравнение только относительно, только внешним образом верно и не обнимает сущности предмета; дерево совершает вечно однообразный круг развития: выходя из зерна, оно зерном вновь становится, чем и оканчивается вся органическая его деятельность. По новейшим открытиям, жизненная сила и прототип каждого растения заключаются не только в зерне, но и во всяком листке его: отпадая и разносясь ветром, листья вновь являются деревьями, и через них нагие степи покрываются лесами. Но от листа дуба и родится дуб, совершенно во всем подобный тому, от которого произошел, и тем дубам, которые сам произведет в свою очередь. Стало быть, здесь только повторение одного и того же типа во множестве одинаковых его проявлений; здесь, стало быть, то или другое дерево – явления совершенно случайные, а важна только идея рода дерева, который, возникши раз, вечно повторяет себя через однообразный процесс органического развития. Не таково общество: никто не помнит его исторического начала, теряющегося в туманной дали бессознательного младенчества; никто не скажет, где конец его развития, ни того, что будет с ним завтра, судя по вчера. И между тем, хотя его *завтра* и всегда заключено в его *вчера*, однако *завтра* никогда не походит на *вчера*, если только общество живет *историческою*, а не одною *эмпирическою* жизнию.

Целый цикл жизни отжила наша Русь и, возрожденная, преображенная Петром Великим, начала новый цикл жизни. Первый продолжался более *восьми* веков; от начала второго едва прошло *одно* столетие: но, боже мой, какая неизмеримая разница в значении и объеме жизни, выраженных этими *восемью* веками и этим *одним* веком! Иногда в жизни одного человека бывает день такого полного блаженства и такого глубокого смысла, что перед этим днем все остальные годы жизни его, как бы многочисленны ни были, кажутся только мгновением какого-то темного, смутного и тяжелого сна. То же самое бывает и с народами; то же самое было и с Русью.

Здесь мы опять должны сделать оговорку, чтоб добрые люди, любящие толковать навыворот чужие мысли, не вздумали *буквально* понять нашего сравнения: единичный человек (индивидуум) и народ – не одно и то же, так же как и счастливый день в жизни человека и великая эпоха в истории народа – не одно и то же. Подвиг Петра Великого не ограничился днями его царствования, но совершался и после его смерти, совершается теперь и будет бесконечно совершаться в грядущих временах, и все в более громадных размерах, все в большем блеске и большей славе… И до Петра Великого текло время, и поколения сменялись поколениями; но эта смена состояла только в том, что старики умирали, а дети заступали их место на арене жизни, а не в живой последовательности живых идей. Поколение сменялось поколением, а идеи оставались все те же, и последующее поколение так же походило на предшествующее, как один листок походит на тысячи других листьев одного и того же дерева. Правнук венчался в нарядном кафтане прадеда, а внучка в той же телогрейке, в которой венчалась ее бабушка, и все те же тут свахи, те же дружки, те же пиры и проч… Ход времени измерялся круговращением планеты, ее вечною весною, за которою всегда следовали лето, осень и зима, да еще лицами и именами, а не идеями, – случайными фактами, а не стройным развитием. Война или потрясала на время внешнее благоденствие государства, или укрепляла и расширяла его извне, а внутри все оставалось неизменным… Явился исполин преобразователь, привил к плодородной и девственной почве русской натуры зерно европейской жизни, – и с небольшим в столетие Русь пережила несколько столетий. Развитие Руси и доселе носит на себе отпечаток могучего характера ее преобразования: она растет не по дням, а по часам, как ее сказочные богатыри. Из многих сторон возьмем ближайшую к предмету нашей статьи – литературу по отношению к обществу: давно ли завелась она у нас, а уже сколько слоев осталось на дне ее недавнего прошедшего, сколько *поколений* резко обозначилось в сфере ее движения! И теперь еще на Руси есть целая публика, хотя и небольшая, которая от всей души убеждена, что Ломоносов «наших стран Малерб и Пиндару подобен», что Херасков – «наш Гомер, воспевший древни брани, России торжество, падение Казани», что Сумароков в притчах победил Лафонтена, а в трагедиях далеко оставил за собою и Корнеля, и Расина, и господина Вольтера, и что с этими тремя поэтами кончился цветущий век российской словесности. Поклонники Державина уже холоднее к ним, хотя все еще высоко ставят их в своем понятии: известно, что Державин с горестью признавался, «сколь трудно соединить плавность Хераскова с силою стихов Петрова». Вообще, до Карамзина особенно трудно проследить изменение литературных понятий в поколениях; но с Карамзиным начинается совершенно новая литература и совершенно новое общество: к стукотне громких од до того прислушались, что уж больше писали и хвалили их (и то по преданию), чем читали; плакали над «Бедною Лизою», твердили нежные стихи ее творца: «Пой во мраке тихой рощи, нежный, кроткий соловей», «Кто мог любить так страстно» и пр.; зачитывали до лоскутов книжки умно, ловко и талантливо составляемого им «Вестника Европы»; в умных, прекрасно, по своему времени, обработанных стихах Дмитриева думали видеть бездну поэзии… Литературное поколение до Карамзина было *торжественное*: парад и иллюминация были неисчерпаемым источником его вдохновений, его громких од. Остроумный Дмитриев метко и ловко характеризовал это поколение в своей прекрасной

сатире «Чужой толк». Следовавшее затем поколение было *чувствительное*: оно охало, проливало токи слезны и воздыхало в стихах и прозе. Любовь заменила славу, миртовые венки вытеснили лавровые, горлицы своим *томным воркованием* заглушали громкий клект орлов. Права на любовь состояли в нежности, в одной нежности. Счастливый любовник восклицал своей Хлое: «Мы желали – и свершилось!» Несчастный, от разлуки или от измены, кротко и умиленно говорил *милой* или *жестокой*:

Две горленки укажут
Тебе мой хладный прах,
Воркуя томно, скажут:
«Он умер во слезах!»[2]

Нравственность при всем этом не забывалась и шла своим путем. Для доказательства этого стоит только упомянуть о стократы-знаменитой песне: «Всех цветочков боле», которая оканчивается следующею сентенциею:

Хлоя, как ужасен
Этот нам урок!
Сколь, увы, опасен
Для красы порок![3]

В этом *чувствительном* периоде русской литературы есть, конечно, своя смешная сторона, и над нею довольно посмеялись последовавшие затем периоды, воспроизводя его в «Эрастах чертополоховых» и тому подобных более или менее остроумных, более или менее плоских сатирах, как он сам в «Чужом толке» зло подтрунил над предшествовавшим ему *торжественным* периодом. Это круговая порука: в том и состоит жизненность развития, что последующему поколению есть что отрицать в предшествовавшем. Но это отрицание было бы пустым, мертвым и бесплодным актом, если б оно состояло только в уничтожении старого. Последующее поколение, всегда бросаясь в противоположную крайность, одним уже этим показывает и заслугу предшествовавшего поколения, и свою от него зависимость, и свою с ним кровную связь, ибо жизненная движимость развития состоит в крайностях, и только крайность вызывает противоположную себе крайность. Результатом сшибки двух крайностей бывает истина; однакож эта истина никогда не бывает уделом ни одного из поколений, выразивших собою ту или другую крайность, но всегда бывает уделом третьего поколения, которое, часто даже смеясь над предшествовавшими ему *торжественными* и *чувствительными* поколениями, бессознательно пользуется плодом их развития, истинною стороною выраженной ими крайности; а иногда, думая продолжать *их* дело, творит новое, свое собственное, которое само по себе опять может быть крайностию, но которое тем выше и превосходнее кажется, чем больше воспользовалось истинною стороною труда предшествовавших поколений. Так, Жуковский – этот литературный Коломб Руси, открывший ей Америку романтизма в поэзии, повидимому, действовал, как продолжатель дела Карамзина, как его сподвижник, тогда как в самом деле он создал свой период литературы, который ничего не имел общего с карамзинским.[4] Правда, в своих прозаических переводах, в своих оригинальных прозаических статьях и большей части своих оригинальных стихотворений Жуковский был не больше, как даровитый ученик Карамзина, шагнувший дальше своего учителя; но истинная, великая и бессмертная заслуга Жуковского русской литературе состоит в его стихотворных переводах из немецких и английских поэтов и в подражаниях немецким и английским поэтам. Жуковский внес романтический элемент в русскую поэзию: вот его великое дело, его великий подвиг, который так несправедливо нашими аристархами

был приписываем Пушкину. Но Жуковский, нисколько не зависимый от предшествовавших ему поэтов в своем самобытном деле введения романтизма в русскую поэзию, не мог не зависеть от них в других отношениях: на него не могла не действовать крепость и полетистость поэзии Державина, и ему не могла не помочь реформа в языке, совершенная Карамзиным. Карамзин вывел юный русский язык на большую ровную дорогу из дебрей, тундр и избитых проселочных дорог славянизма, схоластизма и педантизма; он возвратил ему свободу, естественность, сблизил его с обществом. Но связь Карамзина и его школы (в которой после него первое и почетное место должен занимать Дмитриев) с Жуковским заключается не в одном языке: пробудив и воспитав в молодом и потому еще грубом обществе *чувствительность*, как *ощущение* (sensation), Карамзин, через это самое, приготовил это общество к *чувству* (sentiment), которое пробудил и воспитал в нем Жуковский. Как ни бесконечно неизмеримо пространство, отделяющее «Бедную Лизу», «Остров Борнгольм» Карамзина, его же и Дмитриева нежные и чувствительные песни и романсы от «Эоловой арфы», «Кассандры», «Ахилла», «Не узнавай, куда я путь склонила», «Орлеанской девы» Жуковского; но общество не поняло бы последних, если б не перешло через первые. И этот переход был тем естественнее, что у самого Жуковского были пьесы *посредствующие* для такого перехода, как-то: «Людмила», «Светлана», «Двенадцать спящих дев», «Пустынник», «Алина и Альсим» и т. п. Новый элемент, внесенный Жуковским в русскую литературу, был так глубоко знаменателен, что не мог ни быть скоро понят, ни произвести скорых результатов на литературу, и потому Жуковского величали *балладником*, певцом могил и привидений, – а подражатели его наводняли и книги и журналы чудовищными кладбищными балладами, – в чем и заключается смешное этого периода русской литературы. Впрочем, Жуковский так же виноват в смешном этого периода, как Шекспир в уродливых и нелепых немецких трагедиях Грильпарцера, Раупаха, Шенка и подобных им. Кроме того, надо заметить, что смысл поэзии Жуковского обозначился для общества позднее, уже при Пушкине, а до тех пор, особенно при начале поприща Жуковского, литература русская представляла собою смешение разных элементов, новое и старое, дружно действовавшее: Капнист допевал свои длинные элегические рассуждения в стихах; Озеров сделал из французской трагедии все, что можно было сделать из нее для России, и в лице его французский псевдоклассицизм совершил на Руси полный свой цикл, так что Озеров был у нас последним даровитым его представителем; Крылов продолжал создание народной басни; Пушкин (Василий) считался одним из знаменитейших поэтов; Батюшков, как талант сильный и самобытный, был неподражаемым творцом своей особенной поэзии на Руси; князь Вяземский был творцом особенной, так называемой светской поэзии и по справедливости почитался лучшим критиком своего времени, блестящим, живым и не связанным классическою схоластикою, которая так много повредила критическому влиянию Мерзлякова на общество. С появлением Пушкина все изменилось, и новое поколение резче чем когда-либо отделилось от старого. Между прочими элементами начал проникать в русскую литературу элемент исторический и сатирический, в котором выразилось стремление общества к самосознанию. Пользуясь этим направлением времени, некоторые ловкие литературщики с успехом пустили в ход разные нравоописательные, нравственно-сатирические и исправительно-исторические романы и повести, которые будто бы изображали Русь, но в которых русского было – одни собственные имена разных совестдралов и резонеров.[5] Но тут были и достойные уважения исключения, из которых самое яркое – романы и повести талантливого, но не развившегося Нарежного. В Гоголе это направление нашло себе вполне достойного и могучего представителя.

Но мы здесь пишем не историю русской литературы, а только слегка обозначаем моментальную последовательность общественного развития, которое в каждом поколении имело своего представителя. Еще и теперь есть люди, которые с восторгом повторяют монологи из «Димитрия Самозванца» и «Хорева» и даже печатают восторженные книжки о поэ-

тическом гении Сумарокова:[6] эти люди – утлые остатки некогда юного, живого и многочисленного поколения: в их хриплом старческом голосе, в их запоздалых восторгах слышится голос невозвратно прошедшего для нас времени. Другие вздыхают о «Титовом милосердии», «Рославле» и «Сбитеньщике» Княжнина, говоря про себя: «Что теперь пишут – и читать нечего!» Третьи со слезами на глазах, но уже не споря, говорят равнодушному новому поколению о том, что после «Эдипа», «Димитрия Донского», «Поликсены» и «Фингала»[7] незачем и ездить в театр. Есть люди, для которых русская поэзия умерла с Ломоносовым и Державиным и которые хотя не оспоривают заслуг Жуковского, однако и неохотно говорят о них. Есть люди, которые не иначе могут восхищаться Жуковским, как отрицая всякое поэтическое достоинство в Пушкине. Но сколько теперь таких, которые, юношами встретив первые опыты таланта Пушкина, остановились на Пушкине, не в силах ни на шаг двинуться вперед, и откровенно признаются, что не видят ничего особенного и необыкновенного в Гоголе. Другие же, которых первые создания Гоголя застали еще в поре юности, в поре живой и быстрой восприемлемости впечатлений и способности умственного движения, – высоко ценят и Пушкина и Гоголя; но даже и не подозревают существенного значения Лермонтова. Это, впрочем, не значит, чтоб они не признавали в Лермонтове таланта: нет, кто от поэзии Пушкина перешел через поэзию Гоголя, тот уже поневоле видит дальше и глубже людей, остановившихся на Пушкине, и не может не восхищаться опытами Лермонтова; но восхищаться поэтом и понимать его – это не всегда одно и то же… И все эти поклонники разных мнений живут в одно и то же время, разделяясь на пестрые группы представителей и прошедших уже, и проходящих, и существующих еще поколений… И их существование есть признак жизни и развития общества, в которое царственный преобразователь-зиждитель вдохнул душу живу, да живет вечно!.. и чем больше количество, чем пестрее разнообразие представителей прошедших вкусов и мнений, тем ярче и поразительнее выказывается жизненность общественного развития. *Отсталые* могут возбуждать сожаление и сострадание, как люди заживо умершие, как дряхлый старец, окруженный одними могилами милых ему существ, живущий одними воспоминаниями о невозвратно прошедшей поре счастия, чуждый и холодный для всех надежд и обольщений, которыми кипят не родные ему новые поколения; но едва ли справедливо было бы презирать этих *отсталых*, а тем более обвинять их. Благо тому, кто *отличенный Зевеса любовию*, неугасимо носит в сердце своем прометеев огонь юности, всегда живо сочувствуя свободной *идее* и никогда не покоряясь оцепеняющему *времени* или мертвящему *факту*, – благо ему: ибо эта божественная способность нравственной движимости есть столько же редкий, сколько и драгоценный дар неба, и немногим избранным ниспосылается он! Прочувствовать великого поэта, вполне выразившего собою момент общественного развития, – это значит пережить целую жизнь, принять в себя целый, отдельный и самобытный мир мысли, следовательно, дать своему нравственному существованию особенную настроенность, отлить дух свой в особую форму. И потому только слишком глубокая и сильная натура способна бывает принимать в себя все, ничем не переполняясь, и носить в груди своей целые миры, всегда жаждая новых. По большей части людям трудно отрываться от того, что раз наполнило их, раз овладело ими, и они враждебно, как на ересь, смотрят на то, что наполняет и владеет уже чуждыми им поколениями. Всякая литература не без живых примеров в этом роде. Так иной пожилой критик, ci-devant[1] поборник *высших взглядов* и новых идей, а теперь отсталой обскурант, так же точно и теми же словами нападает на нового великого поэта и его почитателей, как некогда нападали люди старого поколения на прежнего великого поэта и его почитателей…[8] Он и не подозревает, что он повторяет жалкую роль тех самых людей, которых некогда, может быть, он первый заклеймил именем «отсталых», что он теперь бросает в молодое поколение тою же грязью,

[1] Бывший. – *Ред.*

которою некогда швыряли в него классические парики, и что, подобно им, он только себя марает этою грязью… Такое зрелище может возбуждать лишь болезненное сострадание – больше ничего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.
«Моментальное развитие» – в смысле определенного момента, этапа развития. Белинский еще окончательно не отказался от характерной для периода его увлечения Гегелем фразеологии.

2.
Из песни Н. М. Карамзина «Доволен я судьбою…».

3.
Из песни И. И. Дмитриева.

4.
О Жуковском см. примеч. 213 в т. III наст. изд.

5.
См. примеч. 160 в наст. томе.

6.
См. примеч. 43 в наст. томе.

7.
Трагедии В. А. Озерова.

8.
Все это относится к Н. Полевому, к которому Белинский стал относиться резко отрицательно, после того как тот переметнулся в конце 30-х годов в лагерь реакции. Ср., например, письмо Белинского к Боткину от 18 февраля 1840 года: «Поверишь ли, Боткин, что Полевой сделался гнуснее Булгарина. Это человек, готовый на все гнусное и мерзкое, ядовитая гадина, для раздавления которой я обрекаю себя, как на служение истине» («Письма», т. II, стр. 42). В 1842 году отношения Белинского к Полевому обострились еще более в связи со статьей последнего о «Мертвых душах» («Русский вестник», 1842, № 5–6, «Критика», стр. 33–57).